
Любовь
до смерти
и далее
LOVE UNTIL DEATH AND BEYOND

Мари Норт

Любовь до смерти и далее

«Автор»
2026

Норт М.

Любовь до смерти и далее / М. Норт — «Автор», 2026

Любовь, смерть и тайна пути, который начинается за последней чертой. Кэтрин предстоит пройти через боль утраты, воспоминания и принятие, чтобы понять: не всякая любовь должна удерживать. Иногда, чтобы сохранить самое важное, нужно научиться отпускать. Но заканчивается ли любовь там, где заканчивается жизнь?

© Норт М., 2026
© Автор, 2026

Содержание

ЧАСТЬ I. АЛХИМИЯ ДУШ 7
Глава первая. То, что остаётся 7
Глава вторая. Рукопись 14
Глава третья. Что уходит первым 21
Глава четвёртая. Страх 22
Конец ознакомительного фрагмента. 23

Мари Норт
Любовь до смерти и далее

ЛЮБОВЬ ДО СМЕРТИ
И ДАЛЕЕ
Love Until Death and Beyond

Роман в трёх частях

Часть I · Алхимия душ
Часть II · Те, кто не ушёл
Часть III · И далее

Оглавление
ЧАСТЬ I. АЛХИМИЯ ДУШ 4
Глава первая. То, что остаётся 4
Глава вторая. Рукопись 19
Глава третья. Что уходит первым 33
Глава четвёртая. Страх 34
Глава пятая. Последние дни 36
Глава шестая. Первые месяцы 38
Глава седьмая. Нижний ящик 41
Глава восьмая. Алхимия душ 43
Глава девятая. Строка, которую она не заметила 49
Глава десятая. Короткий путь 51
Глава одиннадцатая. Дом 59
Глава двенадцатая. Прощание 59
Глава тринадцатая. Почему она не смогла уйти 61
Глава четырнадцатая. Свет 62
Глава пятнадцатая. Тайна трёх лет 63
Глава шестнадцатая. Мать 64
Глава семнадцатая. Новая цель 65
Глава восемнадцатая. И далее 66
ЧАСТЬ II. ТЕ, КТО НЕ УШЁЛ 67
Глава первая. Знать и мочь 67
Глава вторая. Незавершённые 69
Глава третья. Встречи 70
Глава четвёртая. Люди на набережной 74
Глава пятая. Тот, кто видит 78
Глава шестая. Якорь 81
Глава седьмая. Тот, кто не уходил 83
Глава восьмая. Три двери 86
Глава девятая. Между дверями 88
Глава десятая. Первая дверь: Память 89
Глава одиннадцатая. Вторая дверь: Принятие 93
Глава двенадцатая. Третья дверь: Освобождение 95
Глава тринадцатая. Последний соблазн 98

Глава четырнадцатая. Колокол 100
ЧАСТЬ III. И ДАЛЕЕ 102
Глава первая. Дверь в коридор 102
Глава вторая. Тот, кто писал на полях 104
Глава третья. Его жена 106
Глава четвёртая. До рукописи 109
Глава пятая. Триста лет 112
Глава шестая. Рукопись 114
Глава седьмая. Дэвид 118
Глава восьмая. Один вдох 121
Глава девятая. Отражение 123
Глава десятая. Последняя дверь 125
Глава одиннадцатая. Превращение 129
Глава двенадцатая. Осень 131

ЧАСТЬ I. АЛХИМИЯ ДУШ

Глава первая. То, что остаётся

Часы в прихожей шли.

Ровно, деловито, как идёт человек, который не знает, что его уже не ждут. Она стояла рядом, у самой стены, и смотрела на медный маятник, качавшийся в такт чему-то, чего она больше не слышала. Она пыталась вспомнить, с чего всё началось.

С дождя. Всегда с дождя.

* * *

Она всегда думала, что смерть — это стена. Что по одну сторону остаются живые, по другую всё прекращается, и вся разница лишь в том, кто успел попрощаться.

Пока не умер он.

Но чтобы понять, как женщина, читавшая на трёх языках, дошла до того, что стала искать дверь в стене, нужно вернуться туда, где стены ещё не было. К дождю, к мокрой бумаге и к человеку, который чинил чужие книги.

* * *

Они познакомились в конце марта, когда город ещё не решил, зима это или уже нет.

Кэтрин было двадцать шесть. Она переводила с латыни, немецкого и французского для издательств, которые платили поздно и мало, и жила так, будто мир — это набор комнат, которые нужно успеть осмотреть до закрытия. Могла уехать на выходные в чужой город только потому, что ей понравилось название станции. Могла до хрипоты спорить с незнакомцем из-за запятой. Могла без причины загрустить посреди набережной и без причины же, через пять минут, рассмеяться так, что оборачивались прохожие. Ничьей половиной она себя не чувствовала. Ей это просто не приходило в голову.

В тот день она несла под курткой книгу.

Латинская грамматика девятнадцатого века, дедова. Переплёт отошёл от блока, а на форзаце его карандашом была выведена строчка, которую она знала наизусть, как знают собственное имя. Ей хотелось отдать книгу кому-нибудь, кто не убьёт её клеем из канцелярского магазина, и она шла через полгорода, пока небо над крышами не стало цвета мокрого асфальта и не хлынул дождь.

Она нырнула в первую попавшуюся арку и оказалась перед дверью с эмалированной табличкой: «Реставрация книг и документов. Звонить».

Звонить она не стала. Дверь была подпёрта кирпичом.

Внутри пахло клейстером, кожей и сырой бумагой. Помещение было длинным и узким, как пенал. Вдоль стен стояли стеллажи с книгами без переплётов, а под потолком на бечёвке сушились листы, приколотые прищепками, как бельё. За столом под лампой сидел человек лет тридцати и склонялся над страницей, придавленной по углам стеклянными грузиками. Он не поднял головы.

— Дверь закройте, тянет. Что у вас там под курткой?

— Откуда вы знаете, что у меня что-то есть?

— Вы идёте, как люди, которые несут птицу.

Она достала книгу. Он наконец посмотрел на неё, но не на неё, а на книгу, и посмотрел так, как врач смотрит на ребёнка: бережно, без суеты, с особой внимательностью, в которой нет ничего, кроме желания помочь. Лицо у него было из тех, что запоминаешь не сразу, а потом уже не забываешь: длинное, спокойное, с привычкой чуть щуриться. Пальцы тонкие, в пятнах засохшего клейстера. Всё он делал левой рукой, легко и точно.

Она подумала: человек, который никуда не спешит. И почувствовала лёгкое раздражение, потому что сама никогда не умела не спешить.

— Вы несли её под курткой, — сказал он. — Правильно. Только не сушите на батарее. Никогда.

— Я и не собиралась.

— Все собираются.

Он осторожно открыл форзац, склонился к нему и прочёл вполголоса, коверкая:

— Дум спиро, спе́ро?

— Спе́ро, — поправила она, не успев подумать. — *Dum spiro, spero.* Пока дышу, надеюсь.

— А если перестаёшь дышать?

— Тогда, видимо, перестаёшь надеяться. Логично.

— Не уверен, что логика здесь работает, — сказал он серьёзно, и она вдруг поняла, что он не шутит, а действительно об этом думает.

— Вы всегда спорите с мёртвыми латинскими поговорками?

— Только с теми, что мне нравятся.

Он закрыл книгу.

— Оставьте мне. Приходите в четверг.

— Почему в четверг?

— Бумаге нужно время, чтобы вспомнить, какой она была.

Она хотела ответить чем-нибудь острым, она всегда умела, но вместо этого сказала:

— Кэтрин.

— Дэвид.

Когда она уже стояла на пороге, он поднялся, подошёл к окну, приоткрыл форточку и вдохнул холодный влажный воздух так, будто пил воду.

— Пахнет дождём, — сказал он не ей, а скорее самому себе.

— Вы всем это говорите?

— Только тем, кто приходит вместе с ним.

* * *

В четверг книга ждала её на столе, и Кэтрин не сразу поняла, что изменилось. Переплёт был на месте, корешок прошит заново, углы выправлены. Но главное было не в этом. Книга стала другой в руке: не тяжелее и не легче, а как будто увереннее. Как человек, которого перестали бояться уронить.

— Сколько я должна?

Он назвал сумму, которой хватило бы на два обеда. Она достала из кошелька вдвое больше.

— Это слишком много.

— Это правильно.

— Тогда заплатите чаем, — сказал он и поставил на плитку у стены закопчённый чайник.

Пили они из разных кружек: у неё была с отбитой ручкой, у него с трещиной по краю. Кэтрин говорила. Она рассказывала про поезд, на котором однажды проехала всю ночь ради одного витража, про издательство, задолжавшее ей за три перевода, про немецкого автора, который писал одно предложение на страницу и всё равно оставался прав. Она говорила быстро, взахлёб, перескакивая, а он слушал, ни разу не перебив, и время от времени кивал.

— Вы всегда говорите так, будто боитесь, что вас перебьют? — спросил он наконец.

— Я перевожу. Привычка успевать за чужим текстом.

— А в своём вы не успеваете?

Она замолчала. Это была первая фраза за много лет, на которую ей нечего было ответить сразу.

Потом она спросила его: почему бумага? Он долго смотрел в чашку.

— Всё, что кто-то написал, должно пережить того, кто написал. А бумага хрупкая. Она сама не справится. Я просто помогаю ей дотянуть.

Она подумала, что ничего более красивого о профессии никогда не слышала. И что говорить об этом вслух не стоит, чтобы не испортить.

В пятницу она пришла снова, сама не очень понимая зачем.

— Вы принесли книгу? — спросил он, не отрываясь от работы.

— Нет.

— Тогда вам нужен чай.

* * *

Первый раз он проводил её домой в апреле. Шли пешком, долго, потому что оба делали вид, что дорога не кончается. На перекрёстке у старого арочного моста небо потемнело, и через минуту ударил дождь, тёплый, тяжёлый, весенний. Кэтрин побежала. Дэвид не побежал. Он остановился под аркой, прислонился к мокрому кирпичу и закрыл глаза.

Она вернулась, промокшая, смеющаяся:

— Ты что? Простудишься!

— Подожди. — Он вдохнул. — Слушай.

— Я слушаю. Кап-кап.

— Не то. Запах. — Он открыл глаза. — Знаешь, чем пахнет дождь? Пылью, которая столько ждала. Землёй, у которой забрали всё лишнее. И ещё мокрой бумагой. Так пахнет всё, что выжило.

Она хотела сострить, но увидела его лицо.

— Мне было восемь, — сказал он. — Я переболел лихорадкой и целый год ничего не чувствовал. Вообще. Еда, цветы, мамины духи — всё было как вата. Потом однажды утром пошёл дождь, я вышел на крыльцо, и это вернулось. Сразу, целиком. Запах вернулся, а с ним всё остальное. С тех пор я каждый раз говорю это вслух.

— Что «пахнет дождём»?

— Да. На случай, если он однажды снова пропадёт. Я хочу хотя бы знать, что успел сказать.

Он усмехнулся, смутившись собственной серьёзности. Но Кэтрин, которая в жизни никого не боялась потерять, вдруг поняла, что ей до боли хочется, чтобы он никогда не переставал это говорить.

К октябрю она уже не помнила, как жила без чая в этой мастерской.

В воскресенье они пошли на осеннюю книжную ярмарку в старый крытый рынок. Народу было столько, что приходилось идти боком. Кэтрин задержалась у прилавка с немецкими альманахами, потянулась за тонким томом, а когда обернулась, Дэвида рядом не было.

Толпа сомкнулась на том месте, где он стоял, как вода. Она встала на цыпочки. Ничего. Спины, шапки, чужие локти. Она сделала несколько шагов в одну сторону, потом в другую, и вдруг поняла, что сердце у неё колотится так, как не должно колотиться у взрослой женщины, потерявшей знакомого в толпе. Ей стало по-настоящему страшно. Она разозлилась на себя за этот страх и тут же испугалась ещё сильнее, потому что злость была слабой, а страх нет.

В середине зала, под потолком, висели старые вокзальные часы, большие, с белым циферблатом. Она пошла к ним просто затем, чтобы узнать время и успокоиться, и увидела под ними Дэвида. Он стоял с руками в карманах, смотрел в никуда, и лицо у него было такое спокойное, будто он ждал её здесь уже час.

— Ты где был?

— Здесь.

— Ты меня искал?

— Нет. — Он улыбнулся. — Я подумал: куда пойдёт человек, которому страшно потерять другого? К часам. Все потерявшиеся смотрят на время.

— Мне не было страшно.

— Нет, конечно.

Она хотела обидеться, но не смогла.

— Давай так, — сказал он. — Если потеряемся, ждём у часов. Любых. Ближайших.

— Договорились, — сказала она, смеясь. И ни разу потом не забыла.

* * *

Дом нашёл он.

Старый, двухэтажный, с покосившимся крыльцом, на самом краю города, там, где улица упиралась в реку. Хозяева сдавали его дёшево: никто не хотел жить в доме, где половицы разговаривают, а печь дымит по настроению. Они переехали в мае, через год после первой встречи, с шестью коробками книг и одним чемоданом одежды. В первый же вечер выяснилось, что стол для его кабинета, огромный, дубовый, купленный на распродаже, невозможно поднять по узкой лестнице, и собирать его пришлось наверху, из частей, ругаясь и смеясь до слёз.

Кабинет был на втором этаже. Одно окно смотрело на реку, другое во двор. Стол встал так, что свет падал на левую руку: Дэвид был левшой и говорил, что для реставратора это вопрос жизни и смерти. Нижний ящик заедал, и Дэвид, дёрнув его в первый же вечер, пообещал починить в выходные. Он не починил ни в первые выходные, ни в следующие. Кэтрин заняла соседнюю комнату. Её стол был завален словарями, и подпорки для книг никогда не стояли на своих местах.

В прихожей их ждали часы. Маятниковые, с медным диском и потемневшим циферблатом, они висели на стене так давно, что на обоях остался светлый след в форме их прежнего положения. Хозяева оставили их, сказав, что часы «привыкли к дому». Заводить их нужно было раз в неделю, по воскресеньям, ключом, который висел тут же на гвозде.

Дэвид делал это с такой торжественностью, с какой другие накрывают праздничный стол.

— Дом держится на том, что кто-то раз в неделю напоминает ему: время идёт, — говорил он.

Она смеялась. Но, проходя мимо часов, каждый раз слегка касалась их ладонью, как касаются плеча.

* * *

В одну из первых недель в доме она разбирала коробки с его вещами и наткнулась на конверт с фотографиями. Немного — десятка полтора, из тех, что раньше печатали в будке на углу. Мужчина и женщина лет сорока пяти, на даче, у машины, на какой-то свадьбе — не их, чужой. На нескольких снимках — он сам, подросток, угловатый, с тем же внимательным прищуром, что и теперь.

— Это родители? — спросила она, когда он вошёл в комнату.

Дэвид посмотрел на конверт в её руках так, как смотрят на вещь, которую давно не доставали специально, чтобы не доставать.

— Да.

— Я никогда не спрашивала. Мы к ним съездим?

— Нет, — сказал он просто, без надрыва, тем же тоном, каким говорил о клее и бумаге. — Их нет. Уже десять лет.

Она села на край кровати, не зная, куда деть руки.

— Прости. Я не знала.

— Ты и не могла знать, я не рассказывал. — Он сел рядом, взял у неё конверт, посмотрел на верхнюю фотографию — мать щурится на солнце, отец одной рукой придерживает дверцу машины. — Мне было девятнадцать. Они ехали ко мне, в город, забрать на выходные — я только поступил в мастерскую, к старику, который меня всему учил. Ночь, мокрая дорога, фура на встречке потеряла управление. Говорят, они не успели ничего понять. Я на это надеюсь, хотя наверняка не знает никто.

— Как ты узнал?

— Мне позвонили утром. Сосед из нашего двора, не полиция даже — у него был мой номер, я иногда помогал ему с проводкой. Он просто сказал: «Дэвид, ты сядь». И я сразу понял. По голосу. Люди так говорят только об одном.

Она обняла его, не говоря больше ничего. Он не отстранился, но и не обмяк в её руках, как обмякают, выплёскивая старое горе, — он сидел ровно, как человек, давно научившийся носить тяжесть так, чтобы она не мешала ходить.

— После этого у меня никого не осталось. Дальней родни — немного, но мы не были близки, а после похорон и вовсе разошлись, как расходится вода, когда уберёшь камень. Я доучился на то, что осталось от страховки и от продажи их квартиры. Снял комнату. Работал. — Он помолчал. — Знаешь, что страннее всего? Я не возненавидел смерть. Я думал, что возненавижу, но вышло наоборот.

— Как это — наоборот?

— Она перестала быть чем-то, что происходит с другими людьми в новостях. Она стала… соседкой. Я теперь знал, что она умеет входить без стука, в любую погоду, в любой вторник. И раз она так близко, мне захотелось понять её получше. Не принять — я не святой, я до сих пор иногда среди ночи ненавижу ту фуру и того водителя, которого даже не знаю по имени. Но понять. Прочитать о ней всё, что человечество успело записать за тысячи лет, прежде чем она придёт за мной самим.

— Поэтому ты пошёл в реставрацию?

— Отчасти. — Он слабо улыбнулся. — Книги — единственное, что я видел, умеющее по-настоящему сопротивляться времени дольше человека. Я не мог спасти родителей. Но раз в несколько месяцев мне приносят рукопись, которая должна была рассыпаться ещё при царе, и я ухожу домой зная, что она протянет ещё лет триста. Это не возвращает никого. Но это что-то.

Кэтрин долго молчала, держа в руках фотографию, где его отец улыбается в объектив, не зная, что жить ему осталось меньше года.

— Почему ты никогда не рассказывал?

— Ты не спрашивала, а мне не хотелось, чтобы ты смотрела на меня как на человека, с которым что-то случилось. Я не хотел быть историей. Я хотел быть просто тем, кто чинит тебе книжку и ставит чайник.

— Ты и есть просто тот, кто чинит книжку, — сказала она. — Но теперь я знаю немного больше.

Он кивнул, забрал у неё конверт и аккуратно, почти с той же нежностью, с какой держал чужие ветхие страницы, убрал его на дно коробки.

— Когда мы заведём часы в это воскресенье, — сказал он, — я подумаю о них. Я всегда думаю, когда завожу. Это единственное, что осталось от них регулярного: по воскресеньям я вспоминаю, какими они были, пока были.

С того вечера Кэтрин поняла, почему лампа над крыльцом, которую зажигала её мать, значила для него так много. У него никогда не было окна, в котором кто-то специально оставлял бы свет. С этого дома — было.

В первое воскресенье приехала мама.

Кэтрин ждала её с тревогой. Мама овдовела, когда дочери было девять: отец не проснулся однажды утром, и она, тридцатипятилетняя, вдруг осталась с ребёнком, ипотекой и привычкой держать спину прямо, которую так и не отпустила. Она растила Кэтрин строго и молча. Никогда не говорила «люблю», зато каждый вечер, пока дочь была в отъезде, а потом и в школе, и в институте, оставляла на крыльце включённой лампу, чтобы Кэтрин знала: дома ждут.

Прощаться мама не умела. Кэтрин поняла это, когда в двадцать два уезжала учиться за границу. На перроне мама обняла её быстро, почти грубо, сказала: «Ну всё, иди», повернулась и пошла прочь. Кэтрин смотрела в окно вагона на её удаляющуюся спину, на поднятый воротник,

и обижалась: ей казалось, мама не желает даже дождаться отправления. Только годы спустя она поняла, что мама уходила потому, что не могла смотреть, как уходят.

Теперь мама стояла в прихожей, оглядывая дом взглядом строгого экзаменатора. Она осмотрела печь, проверила гирьки на часах, заглянула в кабинет, где Дэвид, смущённый, вытирал руки о фартук, постучала костяшкой по дубовому столу. Потом села за кухонный стол и съела кусок собственного пирога с таким видом, будто пробовала чужую работу.

— Печь дымит, — сказала она.

— Мы починим, — ответил Дэвид.

— Крыльцо кривое.

— И крыльцо.

— Лампы над входом нет.

— Будет, — сказал он, не задумываясь.

Мама посмотрела на него долгим взглядом. Потом кивнула, как кивают человеку, который прошёл первую проверку.

К вечеру она собралась уезжать. Кэтрин вышла проводить её на кривое крыльцо, хотела что-то сказать и не успела: мама уже сходила по ступенькам.

— Ну всё, — бросила она через плечо. — Лампу поставьте.

И ушла, не оборачиваясь.

Дэвид поставил лампу на следующий же день. Маленький жёлтый фонарь над дверью, который загорался в сумерки и горел до рассвета. Кэтрин долго смотрела на него из окна кабинета, и у неё почему-то щипало в носу.

* * *

Они поженились через год после переезда, в июне, в маленьком зале городской ратуши, где пахло полиролью и чужими цветами. Мама стояла в первом ряду с прямой спиной и сжатыми в кулак пальцами. Ряд за спиной Дэвида остался пустым — не считая Кена, его длинного застенчивого ученика, который держал кольца в обеих руках, боясь уронить хоть одно. Кэтрин, оглянувшись один раз, больше не оглядывалась: она уже знала, кого там нет, и знала, что он знает это лучше неё.

Стоял солнечный день. Ни облачка. Сухая, звонкая жара, от которой плавился асфальт.

Когда всё закончилось, и им вручили какие-то бумаги, и все хлопали, Дэвид нагнулся к её уху. Она приготовилась услышать что-то нежное.

— Пахнет дождём, — прошептал он.

Кэтрин засмеялась и заплакала одновременно. Она поняла его так ясно, как не понимала ни одного текста в жизни. За этими двумя словами стояло всё, что он не умел выговорить: и «я счастлив», и «ты вся моя жизнь», и «я боюсь, что так не бывает». Мама на первом ряду недоуменно посмотрела на них. Потом на небо, синее и безоблачное, и пожала плечами.

Позже слова эти стали их паролем. Когда кому-то из них хотелось сказать: «мне хорошо, и ты тому причиной», он говорил это, даже в самую сухую жару.

* * *

На второй год брака её позвали на конференцию в другой город. Три недели. Дэвид отвёз её на вокзал, помог с чемоданом, поцеловал у вагона и, в отличие от мамы, стоял на перроне, пока поезд не скрылся за поворотом. Она видела его в окне: он не махал, а просто стоял, руки в карманах, и лицо у него было такое, будто он запоминает.

Возвращалась она в одиннадцать вечера, с опозданием на четыре часа и с разряженным телефоном. Пересадка, задержка, забастовка на путях: всё, что может пойти не так, пошло не так. Когда поезд наконец встал, ей показалось, что вокзал пуст. Она выкатила чемодан на перрон и вдруг увидела под большими вокзальными часами скамейку, а на ней Дэвида. Он спал, откинув голову на стену, с приоткрытым ртом, в пальто, застёгнутом не на те пуговицы. У его ног стоял термос.

— Ты здесь четыре часа?

— Пять. — Он открыл глаза, невыспавшийся, счастливый. — Ты сказала: если потеряемся. Я не хотел рисковать.

— Ты мог позвонить.

— У тебя телефон разрядился. Я звонил. — Он сказал это с достоинством. — Двадцать семь раз.

Она села рядом, положила голову ему на плечо и долго не могла сказать ни слова. Часы над ними показывали без десяти двенадцать. Мимо прошла уборщица с ведром, взглянула на них и улыбнулась так, как улыбаются людям, которые нашли друг друга, хотя не знают, надолго ли.

* * *

Они работали в разных комнатах, но над одним делом. Он возвращал книгам целость, она возвращала им смысл. Иногда Кэтрин приносила ему листок и спрашивала, как правильно передать по-русски сложную строку, а он, не глядя, говорил, что перевод должен быть как хороший клей: держать и не быть видным. Она записывала это в блокнот. У неё была целая тетрадь его фраз.

Она не выносила оборванных предложений. В переводе это было достоинством, в жизни превращалось в шутку. Если Дэвид терялся в словах, она заканчивала фразу за него и не успокаивалась, пока нужное слово не находилось.

— Ты не терпишь недосказанности, — говорил он.

— Это профессиональное, — отвечала она.

Тогда это действительно была шутка.

Один вечер запомнился ей дольше остальных.

Ничем не примечательный вечер, одна из первых осеней их жизни в доме. Днём прошла гроза, и к закату небо очистилось, воздух стал прохладным и прозрачным, а с крыльца, мокрого и блестящего, пахло землёй и тополем. Они сидели рядом на верхней ступеньке, пили чай из своих кружек, у неё, как всегда, с отбитой ручкой, у него с трещиной по краю, и молчали. Над дверью горел жёлтый фонарь. В прихожей за приоткрытой дверью мерно тикали часы.

— Если бы можно было оставить один день, — сказал Дэвид, — какой бы ты оставила?

— Любой.

— Любой?

— Этот. — Она пожала плечами. — Разве непонятно?

Он повернулся к ней, и на лице его было то самое выражение, с которым он смотрел на книгу, принесённую под курткой.

— Тогда этот, — сказал он.

Больше они ничего не говорили. Просто сидели и слушали, как с крыши падают редкие капли, как в доме бьётся время, как остывает воздух над рекой. Тогда ей казалось, что так и должно быть всегда. Что счастье, если его однажды накрыть ладонью, останется лежать под ней.

Они прожили в этом доме шесть лет, прежде чем что-то пошло не так.

Первым это заметил не врач и не она. Первой это заметила рукопись.

Глава вторая. Рукопись

Ирен Ваймер пришла в сентябре, в четверг, и Кэтрин, открывшая ей дверь, почему-то улыбнулась.

Гостье было лет сорок пять. Прямая, сухая, с очками на цепочке и портфелем, который она держала обеими руками, как держат чужого ребёнка. Из городского архива, представилась она, отдел редких рукописей. Дэвид спустился из кабинета, вытирая руки, и Ирен не подала ему ладонь, а лишь коротко кивнула: пальцы у неё были заняты.

— Мне рекомендовали вас как единственного человека в городе, который умеет не улучшать.

— Я не улучшаю, — сказал Дэвид. — Я возвращаю бумаге право быть прочитанной.

— Это то, что мне сказали.

Она прошла в кабинет, прикрыла дверь и только тогда поставила портфель на дубовый стол. Достала оттуда плоскую коробку из серого картона, затем вторую, поменьше, и сняла крышку. Внутри, между листами папиросной бумаги, лежала стопка страниц. Небольших, плотных, потемневших по краям.

— Начало восемнадцатого века, — сказала она. — Латынь, частью немецкий. Пришла из частной коллекции: последний владелец прожил один в доме сорок лет и никого туда не пускал. Ни титула, ни имени. Шифровальщики из университета сказали, что это не шифр. Историки сказали, что это не хроника. Я сказала, что это не моя проблема, пока листы не рассыплются. Сейчас они рассыпаются.

— Что вы хотите от меня?

— Стабилизировать. Ничего не менять. Сделать так, чтобы её можно было отсканировать. — Она помолчала. — И ещё одно. Кто-то много раз перекладывал эти листы. Я насчитала минимум пять переплётов. Страницы меняли местами, как будто искали правильный порядок и не находили. Мне нужно понять, сколько раз это делали и в каком порядке.

Дэвид осторожно взял верхний лист двумя пальцами за край, поднёс к лампе и долго смотрел. Кэтрин подошла, встала рядом. Почерк был тонкий, острый, с сильным наклоном влево, буквы стояли тесно, как люди в очереди. Чернила были странные: не коричневые, как у железо-галловых, а с рыжеватым оттенком, будто в них растворили старую монету.

— Медь, — сказал Дэвид вполголоса. — Кто-то добавлял медь. Зачем?

— Именно это я и хочу узнать, — ответила Ирен.

В углу листа, у самого сгиба, была нарисована маленькая окружность. Не замкнутая: между концом и началом линии оставался зазор, тонкий, как волос. Кэтрин почувствовала лёгкий холодок, как перед началом чужой фразы.

— Что это?

— Мы не знаем. Он повторяется на многих листах. — Ирен надела очки. — Разомкнутый круг.

Она задержалась у двери.

— Я зайду в четверг, — сказала она. — Если вы согласны.

— В четверг, — ответила Кэтрин, и ей пришлось прикусить щёку, чтобы не улыбнуться.

* * *

Работа началась в тот же вечер.

Дэвид разложил листы на чистых полотняных листах, пронумеровал карандашом на обороте и сделал фотографию каждого. Кэтрин села рядом с блокнотом и словарём. Он читал глазами, она вслух: то, что могла разобрать. Половина слов была сокращена так, как писали только те, кто не хотел, чтобы прочитали быстро.

За окном шумела река. В доме горела одна лампа, и в её круге двое склонились над страницей, как над картой.

— «Tempus», — читала она. — «Vinculum». Связь. Узы. Нет, тут другое, здесь сказуемое… «Он, кто держит, держит и себя». Что-то такое.

— Это метафора?

— Не знаю. Пока похоже на дневник человека, который разговаривает с самим собой. — Она подняла голову. — Ты слушаешь?

— Я смотрю на его руку.

— На чью?

— На автора. Посмотри, как он ведёт линию. Он писал левой. — Дэвид улыбнулся. — Мы с ним братья.

Они просидели до трёх утра. Когда она наконец потянулась и встала, у неё затекла шея, а в голове гудела латынь. Он тоже поднялся, поцеловал её в макушку и выключил лампу.

— Спасибо, — сказал он в темноте.

— За что?

— За то, что ты такая. — Он не стал уточнять.

* * *

Это случилось через десять дней.

Она была в соседней комнате, когда услышала тишину. Не звук, а его отсутствие: перестал скрести скальпель. Она подождала минуту. Потом встала и вошла.

Дэвид сидел, не двигаясь, у стола. Перед ним лежал лист. На левом краю его, там, где кончалась страница, тянулась тонкая, чистая царапина длиной с ноготь. Скальпель лежал рядом. Не текст, только поле. Но в реставрации ошибок такого рода не бывает.

Он смотрел не на лист. Он смотрел на свою левую руку, лежащую на столешнице, и рука эта мелко, как под током, дрожала. Не сильно. Едва заметно, если не знать, куда смотреть.

— Устал, — сказал он, не поднимая головы. — Просто устал. Три ночи подряд сидели.

— Дэвид…

— Я в порядке. — Он накрыл левую руку правой, прижал, и дрожь как будто ушла. — Ничего страшного. Поле. Ирен даже не заметит.

Она хотела ответить, но не нашла ничего. Она стояла в дверях и смотрела на его склонённую спину, на пальцы, которыми он придавливал одну руку к другой, и в груди у неё что-то тихо, беззвучно щёлкнуло, как щёлкает выключатель в комнате, где вы уже не живёте.

— Хорошо, — сказала она. — Иди спать.

— Через пять минут.

Он просидел ещё два часа.

* * *

Потом разбилась чашка.

Он держал её обеими руками, как всегда, потому что ручка давно отбилась, и она вдруг выскользнула, как живая, упала на плитку и разлетелась. Дэвид стоял и смотрел на осколки. Кэтрин бросилась за веником, но он остановил её:

— Я сам.

— Не надо, порежешься.

— Я сам, — повторил он, и голос его прозвучал так, что она отступила.

Через неделю изменился почерк. Он писал ей записки, привычка с первого года: короткие, на клочках бумаги, оставленные на кухонном столе. «Хлеб купил». «Вернусь к шести». Раньше строчки были такими ровными, что заказчики принимали их за печатные. Теперь буквы стали прыгать, как у человека, пишущего в поезде.

Она сложила все записки в шкатулку и ничего не сказала.

Он начал прятать руки. Сидел за столом, засунув ладони под бёдра, как школьник. Держал вилку кулаком. Придерживал левое запястье правой рукой, когда думал, что она не видит. Она видела. Она видела всё, каждый день, каждый час, и ловила себя на том, что учится делать вид, будто не видит. И что он учится делать вид, будто не замечает, что она делает вид.

Так они жили две недели. Две недели вежливого, тихого, невыносимого притворства.

Ирен пришла в четверг, как обещала. Села за стол, надела очки и долго разглядывала пронумерованные листы, не притрагиваясь к ним. Дэвид сидел напротив, держа кружку обеими руками, и Кэтрин видела, как он напрягает пальцы, чтобы кофе не выплеснулся.

— Поле, — сказала Ирен, найдя царапину. — Левый край, восьмой лист.

— Моя вина.

— Я не спрашиваю, чья вина. — Она подняла глаза. — Я отмечаю для каталога. Всякий раз, когда что-то происходит с рукописью, это должно быть записано. Так делали все, кто с ней работал.

Она открыла портфель и достала оттуда то, чего в прошлый раз не показывала: серую картонную коробку, в которой рукопись пришла в архив. Перевернула крышку. На обратной стороне, в углу, карандашом, чужим неровным почерком было выведено несколько слов.

— Не его почерк, — пояснила она. — Не автора. Кто-то из владельцев, судя по бумаге. Мы не знаем, кто и когда.

Кэтрин наклонилась.

«Вслух — только вдвоём».

— Что это значит? — спросила она.

— Понятия не имею. — Ирен пожала плечами. — Возможно, суеверие. У старых рукописей их много. Я решила, что вам стоит знать, потому что вы, как я понимаю, читаете её вслух.

Кэтрин рассмеялась, смущённо.

— Мы читаем вдвоём.

— Тогда, полагаю, всё в порядке.

Дэвид не улыбнулся. Он смотрел на серую коробку, на карандашные буквы, и лицо у него было такое, как у человека, которому напомнили о чём-то, чего он не успел решить.

— Кто-то из владельцев, — повторил он тихо. — Значит, кто-то читал её до нас. И тоже вдвоём.

— Или никогда не читал, — сказала Ирен и закрыла коробку. — Это, знаете ли, тоже возможно.

Она ушла, и в прихожей, проходя мимо часов, на секунду задержалась. Кэтрин заметила, как взгляд архивистки скользнул по маятнику, по гвоздю с ключом, по светлому следу на обоях. Так смотрят не на вещи, а на чужую жизнь.

— Хороший дом, — сказала Ирен, не оборачиваясь. — Он вас держит.

Дверь закрылась. Кэтрин не поняла, почему эти слова показались ей похожими на предупреждение.

В ночь на воскресенье Кэтрин проснулась в три часа, потому что рядом никого не было.

Она спустилась в кабинет. Лампа горела. Дэвид сидел в кресле и смотрел на свою руку. Он не заметил, что она вошла. Он держал ладонь перед лицом, раскрытую, как держат маленькую птицу, и напряжением воли пытался её остановить. Дрожь то стихала, то возвращалась, и каждый раз, когда возвращалась, лицо его менялось, как лицо человека, слушающего плохую новость по частям.

Она не окликнула его. Она вернулась в спальню, села на край кровати и просидела там до рассвета, положив ладони на колени, чтобы они не дрожали тоже.

В воскресенье утром она сказала:

— Завтра ты идёшь к врачу.

— Кэтрин, это нервы.

— Завтра.

— Это работа, — сказал он. — Давай подождём ещё неделю. Я сейчас в середине рукописи. Если оставить…

— Дэвид.

— Не надо со мной как с больным!

Он никогда на неё не кричал. За шесть лет ни разу. Эти слова упали на кухню, как посуда с полки, и в наступившей тишине она слышала, как в прихожей тикают часы. Дэвид стоял, красный, дышал тяжело, левая рука его ходила ходуном.

Он посмотрел на неё. Потом на руку. И вдруг сел, как будто у него подкосились ноги.

— Прости, — сказал он. — Прости меня.

— Ничего.

— Я не хотел.

— Я знаю.

— Мне страшно, — сказал он. Голос его был тихим, почти детским, и она поняла, что он произнёс это слово в первый раз за много лет. Единственный раз. — Мне так страшно, что я не могу об этом говорить.

Она опустилась перед ним на колени и взяла его руки, обе, в свои. Они дрожали. Она держала их, пока не поняла, что дрожит уже сама, и не разжала пальцев.

* * *

Врач принял их через два дня.

Доктор Морган оказался спокойным, очень усталым человеком в помятом халате, с большими руками пианиста, которые он держал сцепленными на столе. Он задавал вопросы, просил коснуться пальцем носа, сжать его ладонь, пройтись по прямой линии. Потом сказал, что нужны исследования. Дэвид кивнул слишком быстро. Кэтрин записала на бумажке названия, как записывают слова на чужом языке.

Через две недели они пришли за результатами.

Кабинет был тот же. Тот же стол, та же лампа. Но воздух стал плотнее, как перед грозой. Доктор Морган не стал ходить вокруг. Он положил на стол бумагу и назвал диагноз.

Название было латинским. Кэтрин перевела его машинально, как переводила всё: два корня, «постепенный» и «ослабление». Ей никогда так сильно не хотелось не знать языков.

— Сколько? — спросил Дэвид.

Голос у него был совершенно ровным. Это было хуже всего.

— Годы. Не два. Может быть, не десять. Точнее вам не скажет никто. — Врач помолчал. — Течение у каждого своё. Болезнь не торопится. Это единственное, что можно про неё сказать хорошего.

— А руки?

— Руки будут первыми.

— Я реставратор.

— Я знаю. Простите.

Дэвид кивнул. Он смотрел не на врача, а на окно, за которым шёл мелкий колючий снег. Кэтрин вдруг поняла, что он сейчас не здесь. Что он уже ушёл куда-то далеко, туда, где у людей отбирают вещи, и пытается решить, какие успеет унести.

— Что нам делать? — услышала она собственный голос.

— Жить, — просто сказал Морган. — Как можно дольше делать то, что вам дорого.

Они вышли на улицу. Автобусы стояли в пробке, и все люди вокруг спешили куда-то так, будто им пообещали, что времени хватит.

— Пойдём пешком, — сказал Дэвид.

Идти было четыре километра. Они прошли их молча, рука в руке, через весь город, вдоль реки, через старый мост. На середине моста он остановился, оперся о перила и вдохнул.

— Пахнет дождём, — сказал он.

Дождя не было. Был снег.

Она посмотрела на него, на его лицо, на его прозрачный вдох, и поняла, что он говорит ей сразу две вещи. Первую: «Мне хорошо, потому что ты рядом». И вторую, которую никогда бы не произнёс вслух: «Мне страшно, и я успел сказать».

Она взяла его за руку и сказала то же самое в ответ.

* * *

Домой они вернулись в сумерках. Был воскресный вечер, и часы в прихожей, как часы, которым никто не сказал, что мир изменился, показывали время с обычной невозмутимостью. Стрелки стояли на четверти седьмого. Маятник качался лениво и неохотно, как всегда перед заводом.

Дэвид снял пальто и повесил его. Потом подошёл к часам, взял с гвоздя ключ и вставил его в скважину.

Рука его дрожала так, что ключ звякнул о медь.

Он замер. Кэтрин стояла у него за спиной. Она видела, как поднялись его плечи, как он набрал воздуха, как приготовился к чему-то, что не хотел показывать. Она шагнула вперёд и положила свою ладонь поверх его.

Ключ повернулся. Раз. Другой. Пружина внутри часов отозвалась тихим, довольным звуком.

— Теперь заводим вдвоём, — сказала она.

Он не ответил. Только стоял, опустив голову, и она чувствовала под пальцами, как медленно, очень медленно затихает дрожь.

— Я не хочу, чтобы мы тратили это время на страх, — сказал он наконец.

— Хорошо.

— Обещаешь?

Она хотела сказать «обещаю», но задумалась на секунду, и он это заметил. Он повернулся к ней, посмотрел, тихо улыбнулся.

— Ладно. Постараешься?

— Постараюсь.

— Этого достаточно.

Они не знали тогда, что каждый из них лжёт другому, и что оба делают это из любви.

* * *

В ту ночь они долго не спали.

Лежали рядом в темноте, не касаясь друг друга, и слушали, как за стеной тикают часы. Кэтрин ждала, что он заговорит, и он заговорил, но не о том, чего она боялась.

— Расскажи мне что-нибудь, — сказал он. — Что не закончится.

— Например?

— Не знаю. Про тот день, когда ты пришла с книгой.

— Ты же сам всё помнишь.

— Я помню, как это было для меня. Хочу знать, как было для тебя.

Она помолчала, подбирая слова.

— Ты сидел за столом и не поднял головы. Я подумала: какой наглый. И одновременно: как он умеет не спешить. Потом ты посмотрел на книгу, не на меня, и я вдруг позавидовала книге.

— Ревновала к грамматике?

— Немного.

Он тихо засмеялся. В темноте она чувствовала, как дрожит его дыхание.

— А ты помнишь, как пахло? — спросил он.

— Клейстером. Кожей. Сырой бумагой.

— И дождём.

— И дождём, — согласилась она.

— Запомни это, — сказал он. — Что бы ни случилось. Запомни, как пахло.

Она не спросила, зачем. Она лежала, глядя в потолок, и повторяла про себя: клейстер, кожа, сырая бумага, дождь. Как повторяют слова на чужом языке, которые нельзя забыть.

* * *

Маме они сказали на следующий день.

Она приехала на такси, потому что не любила водить в темноте, и села за кухонный стол, не снимая пальто. Дэвид говорил. Кэтрин никогда не слышала, чтобы он так ровно, так безупречно строил фразы, как будто читал чужой текст с листа. Он говорил про диагноз, про «годы», про «не тороплюсь», и мама слушала, не шевелясь, с прямой спиной, сложив руки на сумке.

Когда он закончил, наступила тишина.

Мама встала. Аккуратно поставила сумку на стул. Подошла к раковине, включила воду и начала мыть посуду, которая была уже чистой. Чашки, блюдца, ложки. Каждую она долго держала под струёй, потом вытирала полотенцем, потом ставила на полку. Кэтрин видела только её спину, подпоясанное пальто и седую прядь, выбившуюся из причёски.

Она хотела подойти. Но не знала, что делать: обнять её, как ребёнка? Заговорить? Мама никогда не любила, когда её жалели.

Через двадцать минут мама вытерла последнюю ложку, повесила полотенце на крючок и сказала:

— Мне пора.

— Мам…

— Я вызову такси.

— Останься, — сказал Дэвид.

— Нет. — Она взяла сумку. У порога остановилась, не оборачиваясь. — Ну всё. Лампу не забывайте.

И ушла.

Кэтрин не смогла уснуть той ночью. В четыре утра она встала, чтобы выпить воды, подошла к окну кухни и увидела, что напротив дома, у ограды, стоит машина. Обычная, серая, с погашенными фарами. Внутри сидел кто-то. Она узнала контур плеч, воротник, прямую спину.

Мама не уехала. Она просидела у дома всю ночь, глядя на жёлтый фонарь над крыльцом, и не смогла ни войти, ни сказать то, что хотела. Кэтрин долго стояла у окна, положив ладонь на стекло. Потом вернулась в постель и притворилась, что спит, когда Дэвид повернулся к ней и спросил, что там.

Утром машины уже не было.

* * *

Через три дня Дэвид позвонил в архив и попросил продлить срок.

— Мне нужно ещё время, — сказал он. — Рукопись сложнее, чем я думал.

Он повесил трубку и долго сидел, не убирая ладонь с аппарата.

Вечером он пришёл к Кэтрин в комнату, сел на край её кресла и положил перед ней папку. В ней лежали его фотографии страниц, пронумерованные и подписанные его теперь неровным почерком.

— Переведи мне всё, — сказал он. — Что там есть. Не для архива. Для меня.

— Зачем?

— Хочу знать, о чём он думал. — Дэвид пожал плечами. — Человек триста лет назад сидел над этими листами, как я сижу над ними сегодня. Мне кажется, нам есть о чём поговорить.

Она посмотрела на него и вспомнила конверт с фотографиями на дне коробки. Ей подумалось, что он всю жизнь ищет способ поговорить с кем-то о смерти так, чтобы это не было ни утешением, ни жалостью, — и что чужая рукопись трёхсотлетней давности, может быть, первый собеседник, который ему для этого подошёл.

Она улыбнулась. Он был таким всегда: помогал бумаге дотянуть, потому что верил, что за ней стоит кто-то живой.

В тот вечер она перевела ему первую страницу. Он сидел рядом, закрыв глаза, и слушал, как слушают музыку. Она читала медленно, подбирая слова, и в комнате, кроме её голоса и часов за дверью, не было ничего.

Пока она не дошла до строки, написанной чуть крупнее остальных, как будто автор нарочно нажал на перо:

«Anima non perit; iter facit et post tres annos revertitur».

— «Душа не гибнет, — прочла она. — Она отправляется в путь и через три года возвращается».

Она подняла глаза. Дэвид открыл свои. Он смотрел на неё внимательно, странно, будто увидел что-то за её спиной.

— Ещё раз, — попросил он.

Она повторила.

Он ничего не сказал. Только кивнул и снова закрыл глаза.

Она тогда решила, что ему просто понравилась цифра.

Глава третья. Что уходит первым

Болезнь не брала ничего сразу. Она брала вещи по одной, как берёт человек, который не хочет, чтобы заметили.

Сначала мастерская. Дэвид закрыл её через год после диагноза, продал станок и стеллажи, а инструменты, завёрнутые в фланель, подарил ученику, длинному застенчивому парню по имени Кен. Тот принял свёрток двумя руками, будто ему вручали ребёнка.

Потом прогулки. Сначала пропали дальние, за мост, в парк, к сосновой роще, где они любили сидеть на пне и смотреть на реку. Потом не стало тех, что покороче. К четвёртому году он выходил только до калитки, а к пятому — до крыльца, и они сидели на нём вдвоём, под козырьком, глядя на дорогу, как на телевизор.

Потом книги. Сначала он не мог удержать их: пальцы разжимались. Тогда она стала придерживать книгу, пока он переворачивал страницы. Потом строки стали плыть и путаться. Тогда книги начала читать вслух она. Он слушал, закрыв глаза, а если она пыталась пропустить абзац, выдавал её в ту же секунду.

Потом дождь.

Это заметила не она, а он. Весной, на пятый год, в первую ночь, когда пошёл настоящий ливень, Дэвид долго стоял у распахнутого окна. Кэтрин подошла, накинула ему на плечи плед. Он не пошевелился.

— Что-то должно пахнуть, — сказал он.

— Землёй. — Она прислушалась к воздуху. — Мокрой пылью. Тополем.

— Я помню слова, — сказал он тихо. — Запаха нет.

Он не заплакал. Он просто закрыл окно, и они долго сидели в темноте, слушая, как дождь бьёт в стекло. Ей показалось тогда, что они оба услышали, как закрылась ещё одна дверь.

Оставались её руки. Так он говорил.

— Слова уходят, — шептал он по ночам, когда не мог уснуть, — запахи уходят, страницы. Но твои руки я узнаю всегда. Даже не глядя.

Она держала его ладонь в своих, пока он не засыпал. Иногда — до утра.

Работала она теперь по ночам, когда он спал. Переводы шли медленнее, платили за них хуже, но она не жаловалась. Мать приезжала уже не по воскресеньям, а трижды в неделю, привозила еду, стирала простыни и никогда не спрашивала, как долго это продлится. Подруга Дина оставляла у порога пакеты с апельсинами, потому что заходить не умела: ей было страшно увидеть Дэвида таким.

Кэтрин не осуждала. Она сама всё время училась не бояться.

Глава четвёртая. Страх

Он боялся. Кэтрин знала это, хотя после той единственной ночи на кухне он ни разу больше не произнёс слова «страшно».

Она читала его по косвенным уликам.

По лампе, которую он просил оставлять включённой на ночь, «чтобы легче было засыпать». По руке, которая вдруг находила её запястье в темноте и стискивала так, что оставались следы. По вопросу, который он задавал по утрам слишком спокойным, слишком ровным голосом: «Какое сегодня число?» Ему было важно знать. Дни, которые он ещё называл по именам, были для него чем-то вроде ступенек над водой.

Она знала: он боялся не боли. Боль, как объяснил врач, будет управляемой. Он боялся другого, того, о чём боятся говорить люди, привыкшие держать в руках тонкую вещь: что вместе с телом, по частям, из него уйдёт он сам. Что однажды он посмотрит на жену и не вспомнит, как её зовут. Что страница, оторвавшись, не сможет вернуться в переплёт.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.